

# **ВОСТОК**

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ И ИСКУССТВА**

**КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ**

**«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА -- 1924 г. — ЛЕНИНГРАД**

---

---

## ШАНФАРА

### ПЕСНЬ ПУСТЫНИ

До-исламская поэзия арабов мало доступна и малопривлекательна для европейского читателя, подходящего с обычными эстетическими запросами. Большая трудность языка, обусловленная отчасти лексическим богатством, в котором и теперь исследователи нередко теряются, действует устрашающе даже на ученых. Усилия, которые приходится затрачивать для непосредственного понимания, настолько велики, что по ироническому замечанию одного исследователя, парализуют всякое эстетическое восприятие. Нет в древне-арабской поэзии и тех черт, которые читатель привык соединять с понятием «восточной» поэзии — нет «знойной южной» фантазии, нет смелых метафор и синекдох, нет изящного чувства Хафиза, нет и философской гедоники Омара Хайяма. Только сравнения и эпитеты роднят эту поэзию с привычным нам «восточным» стилем.

И сила, и слабость ее единственно в том, что она с фотографической точностью отражает все стороны жизни арабского племени с окружающей его природой. Более четкий и мелкий рисунок трудно найти в поэзии других примитивных народов; здесь для него выработана особая композиционная форма, остающаяся неизменной уже с самого древнего периода, до которого может проникнуть наш исследовательский взор. Насколько разноречивы отзывы об эстетическом значении древне-арабской поэзии, настолько единогласно она признается важнейшим и авторитетным источником для характеристики арабского народа и его быта в эту эпоху.

Источник этот очень богат. Арабская литературная традиция сохранила нам несколько сборников, составленных из произведений этой эпохи, и целый ряд отдельных стихотворений. Особой популярностью пользуются на востоке с VIII века, в ученой Европе с XVIII-го, так называемые «муалляки» (подвешенные-навизанные-отборные); они составляют свод в семь (или по другим редакциям в девять и десять) крупных произведений одного типа. Кроме формы их сближает и то обстоятельство, что все они принадлежат поэтам, высоко ставящим племенной принцип, защитникам родовой чести, певцам ее славы. И с этой точки зрения особый интерес приобретает другое стихотворение, которое арабы ценят не меньше муалляк по его поэтическому достоинству. Это так называемая «арабская лямийя» (т. е. пьеса с рифмой на я), которая приписывается Шанфару.

В противоположность авторам муалляк Шанфара — отщепенец от племени, «изгой»; он порвал связь со своим родом и живет свободной одинокой жизнью среди четвероногих и пернатых обитателей пустыни. Его появление несет ужас и смерть в бедуинские кочевья; сам он смеется над пастухами и домоседами. Все его произведение — мозаика на единую тему «жизнь изгой в пустыне»; оно проникнуто уже не родовым патриотизмом, а силой порвавшей с ним личности и своеобразной «хвалой пустыне», давшей приют изгнаннику. О жизни его, относящейся по видимому к VI веку, нам ничего неизвестно, кроме легендарных подробностей. Предание говорит, что и перед

ковчиной он остался верен себе. Захваченный в плен врагами, чувствуя неминуемую смерть, он произнес свое знаменитое завещание:

Не хороните меня, ведь хоронить меня вам запрещено! Но обрадуйся ты, мать жилья!<sup>1)</sup>

Когда унесут мою голову<sup>2)</sup> — а в голове моя большая часть — и покинуто будет на месте схватки все оставшееся от меня,

там не буду я надеяться больше на радостную жизнь, до конца ночей проклинаемый за преступления.

Арабы, повидимому, не знали близко Лямийи до конца VIII века: это заставило нескольких ученых предполагать, что произведение только приписано Шанфару, а на самом деле сочинено одним ученым филологом около того времени, с которого оно становится известным. Не говоря однако о том, насколько трудно предположить у горожанина-книжника такое хорошее знание условий примитивной жизни в пустыне и ее непосредственное восприятие, даже и установление подделки не могло бы изменить нашего отношения к памятнику. Мы должны согласиться с парадоксальным на первый взгляд мнением о том, что и подделку надо в данном случае считать памятником древности; она исполнена лицом, настолько хорошо проникшим в дух арабской древности, что у него не может быть ни одной детали, противоречащей исторической и психологической верности. На этом выводе можно примириться, тем более, что последний исследователь этого произведения считает его подлинным.

Работа этого исследователя появилась уже во время войны<sup>3)</sup> и послужила главным толчком к напечатанию русского перевода, давно подготовленного для сборника образцов древне-арабской поэзии. Филологический перевод не претендует на самостоятельное художественное значение, прежде всего потому, что он исполнен прозой и ни в какой мере не передает форму оригинала. Размер подлинника, несмотря на производившиеся опыты, слишком необычен для русского языка; кроме того и крупному поэтическому таланту едва ли удастся выдержать на протяжении 68 стихов одну и ту же рифму, как это имеет место в оригинале. Переводчик желал только ~~предоставить~~ читателю не всем доступный оригинал в возможной близости, чтобы дать почувствовать аромат арабской оболочки сквозь русскую передачу. Чтобы не перегружать перевод скобками со вставными словами, в некоторых стихах пришлось прибегнуть к пояснительным примечаниям, вынесенным в конец.

Переводчик хотел бы надеяться, что его работа послужит опорой для поэта, который пожелает воплотить «песнь пустыни» в русских стихах; не лишне напомнить, что без точных переводов Сильвестра де Саси и Сенковского немислимо было бы появление художественной обработки Мицкевича (1828 г.), которой скоро исполнится сто лет.

Кроме упомянутой уже последней, подводящей итоги работы, переводчик пользовался конечно и всей доступной ему в Петрограде обширной литературой о произведении Шанфары, как на арабском, так и на европейских языках. На русском — перевод с подлинника появляется впервые; только в эпоху «восточного романтизма» в России 30-х — 40-х годов печатались несколько раз обработки польского перевода Мицкевича.

1) Мать жилья — Умм Амир, иронический эпитет гиены, живущей в развалинах и в безлюдных местах.

2) Голову враги заберут как трофей.

3) Schanfara-Studien von Georg Jacob, 1. und 2. Theil. München, 1914 — 1915.



1| Выпрямите грудь ваших животных, сыны моей матери: ведь я больше склоняюсь к другой семье, не к вам!

Готово все нужное и ночь лунная; подвязаны для пути и животные, и седла.

Жизнью твоею клянусь — есть на земле убежище для обиды человеку благородному; есть на ней уединение для того, кто страшится ненависти.

Жизнью твоею клянусь — на земле не тесно человеку, который двинулся в путь ночью с желанием или страхом, сохраняя разум.

5| У меня ближе вас есть семья: неутомимый волк, пятнистый, короткошерстый и гривастая вонючая.

Они — моя семья: врученная им тайна не разгласится, а преступник не будет покинут за то, что навлек своим преступлением.

Каждый из них непокорен и храбр, но я их храбрее, когда показывается первый отряд тех, кто будет прогнан.

А если протянутся руки к запасу, я не быстрее их, когда самый алчный из людей оказывается самым торопливым.

И это только превосходство от стремления быть лучше их: лучшим бывает ведь стремящийся к этому...

10| Заменяли мне утрату тех, кто не воздаст за благодеяния, в близости с кем нет утехи,

— трое друзей: сердце пылающее, белый обнаженный и желтый длинный,

звучащий — из тех, что с гладкою поверхностью; разукрашивают его прикрепленные к нему ремешки и перевязь.

Когда соскочила с него стрела, он стонет как пораженная утратой, лишившаяся детеныша, которая кричит и вопит...

Я не истомленный жаждой, который пасет свое стадо поздно вечером; верблюжата у него плохо накормлены, хотя у верблюдиц и не перевязано вымя.

15| Я и не слабосильный трус, который постоянно сидит при жене, расспрашивая ее о своем деле, как ему поступить, —

и не припавший к земле страус, сердце которого точно жаворонок поднимается и опускается, —

и не остающийся позади домосед-любезник, который и утром, и вечером расхаживает умастившись и сурьмится.

Я не бездельник, у которого зло раньше добра, неумелый, что вскакивает безоружным, если ты его испугаешь.

Я не страшусь темноты, когда на пути перепуганной мчащейся наугад встает бездорожная грозная.

20| Когда каменистые кремни встречают мои копыта, разлетаются от них выбивающие искры и раздробленные.

Я затягиваю отсрочку голоду так, что умерщвляю его; воспоминание о нем я ударяю по боку и не обращаю больше внимания.

Я глотаю прах земли, лишь бы кичащийся благодеяниями не считал за собой благодеяний для меня.

А если бы не уклоняться позора, то не нашлось бы питья, при котором пируют, или пищи ни у кого, кроме меня.

Но душа свободная не останавливается со мной над позором, без того, чтобы я сейчас же не удалился.

25| Я скручиваю при голодовке кишки, как скручиваются нити искусника, которые свертывают и свивают.

Я бегаю по утрам и при скудной пище, как бегают поджарый темносерый, которого передают друг другу пустыни.

Утром с подведенным животом он голодный состязается с ветром; он забегает в хвосты ущелий и мечется.

И когда пища его выводила там, где он искал ее, он возвал и ответили ему похожие на него, тощие,

как молодой месяц, седомордые, — точно стрелы в руках игрока в мейсор, которые пошевеляются,

30| — или вспугнутый улей, в котором разогнали рой деревянные дощечки, запущенные высоко поднявшимся собирателем меда.

Широкопастые, большеротые — углы пасти у них точно щели бревен, с оскаленными зубами хмурые.

Он завопил и они завопили на долине; он с ними точно плачущие на холме, утратившие своих детей.

Он замолчал и они замолчали; он утешился и они утешились — бедняки, которых он утешает и его утешают бедняки.

Он жалуется и они жалуются, потом он перестал и они перестали — ведь терпение, ~~но~~ не помогает жалоба, лучше.

35| Он вернулся и они вернулись торопливо; каждый из них ведет себя бодро и при тягости, которую пытается скрывать...

Только остатки от меня пьют пепельные кота после того, как они пролетели в темноте ночи, а внутренности их бурчали от жажды.

Я замыслил нечто и они замыслили тоже и мы устремились: они уже опустили свои крылья, а в моем лице подбирал подол опережающий, не торопящийся.

Я ушел от них, а они припали тогда на край водоема; и подбородки, и зобы их вплотную прикоснулись к воде.

Их шум по краям водоема и вокруг — точно сборище путников из разных племен, которые останавливаются на привал.

40| Они собрались к нему с разных сторон; он объединил их, как водопой объединяет стада разных кочевий.

Они напились немного, а потом умчались точно караван на заре из Ухазы, торопливый...

Я льну к лику земли, растягиваясь на ней сгорбленной, которую вытягивают покрытые кожей позвонки;

я подкладываю исхудалую с суставами точно кости, что расставил игрок и они стоят стоймя...

Если и огорчена Шанфарой Умм-Касталь, то ведь дольше она благоденствовала от Шанфары прежде.

45| Гоним он преступленьями, которые по жребию разделили его мясо, гадая, кому из них достанется он раньше в добычу.

Пока он спит, они спят с бодрствующими веками, торопливо спеша причинить ему неприятное.

И друг он забот, которые не перестают его навещать повторно, как четырехдневная лихорадка; еще тяжеле они.

Когда они спускаются к водопою, я их отвожу, но они снова возвращаются и приходят и снизу и сверху.

Если ты и видишь меня похожим на дочь песка под солнцем в жалком положении босым и без сандалий, —

50| то ведь я владыка терпения; я облекаю его одеяние на то, что подобно сердцу волчьего-гиенного ублюдка, а благоразумие беру как сандалию.

По временам я нуждаюсь, по временам богатею, но ведь достигает богатства только далеко смотрящий, прилагающий усилия.

Я не печалюсь открыто от бедности и не радуюсь, горделиво выступая под богатством.

Безумства не пересиливают моей сдержанности: меня не увидят расспрашивающим о последствиях толков и смелничающим.

Не в одну злосчастную ночь, когда владелец сжигает свой лук и стрелы, которыми он запасся,

55| я шел под мраком и дождем, а моими спутниками был холод, голод, страх и дрожь.

Я вдовил жен и сиротил детей, и вернулся, как и начал, а ночь была еще темнее.

И на утро в аль-Гумейса были две толпы: одну расспрашивали, а другая спрашивала про меня.

Они говорили: «Ночью заворчали наши собаки и мы сказали — рыскает волк или рыскает гиененок?»

Но это был только один звук, а потом они задремали и мы сказали — вспугнули верно кота или вспугнули сокола!...

60| Если он был из джинов, то великую беду натворил придя ночью, а если он был человеком... Но ведь похожего на это не сделает человек!...

Не в один день, когда при Сириусе тает паутинка в воздухе, когда ехидны ворочаются на песке,

я выставял навстречу ему свое лицо и перед ним не было никакого покрывала, никакой завесы, кроме полосатой рваной ткани,

кроме длинных, которые разлетаются прядями с боков, когда подует ветер, не расчесанных.

Долог срок, что к ним не прикасалась мазь и не искали в них насекомых; на них кора, которую не смывали уже год...

65] Не одну пустыню, голую как поверхность щита, я пересекал двумя работницами — такую, поверхности которой еще не касались.

И начало ее я объединял во взоре с концом, поднявшись на вершину, то на корточках, то прямо.

Кругом меня бродят рыжеватые козы, точно монахини, на которых плащи с длинным подолом.

А вечером они успокаиваются вокруг меня точно и сам я из горных козлов, с загнутыми назад рогами, который взбирается на скалы и прячется в них...

Перевел с арабского

*И. Крачковский*



### ПРИМЕЧАНИЯ

Стих 1. Поэт говорит о верблюдах, которые при нагрузке опускаются на землю; выпрямить грудь верблюда — поставить его на ноги. Племя поэта откочевывает, сам он, разрывая с ним, остается на старом месте.

Стих 5. «Пятнистый, короткошерстый» — леопард, «гривастая, вонючая» (по другим комментариям — прихрамывающая) — гиена.

Стих 11. «Белый обнаженный» — меч, «желтый, длинный» — лук.

Стих 14. Когда верблюжат отлучают от матки, верблюдицам перевязывают вымя.

Стих 16. Страус в арабской поэзии считается трусом; от страха сердце бьется так сильно, что кажется будто оно зацепилось за дрожащие крылья жаворонка.

Стих 18. «Зло у него раньше добра» — на долю людей от него достается только первое.

Стих 19. Эпитеты относятся к верблюдице и пустыне.

Стих 20. Поэт говорит «мои копыта» вместо «ступни моего верблюда», которые при быстром беге разбрасывают во все стороны осколки камней.

Стих 22. Я готов есть землю, чтобы не быть никому обязанным.

Стих 23. Герой мог бы при желании присвоить себе все богатства.

Стих 26. «Поджарый, темносерый» — волк.

Стих 27. «Хвосты ущелий» — высохшие русла потоков, устремлявшихся с гор в ложину.

Стих 29. Мейспр — азартная игра на мясо верблюда, где отмеченная определенным знаком стрела получала определенную долю.

Стих 30. Дикие пчелы гнездятся обыкновенно высоко в скалах.

Стих 36. Поэт быстрее достигает водопоя, чем птицы кáта (*pteroclidurus alchata*), хотя они устремляются в одно время.

Стих 37. Птицы, напрягая все усилия, устали, а Шанфара, опережает их не торопясь.

Стих 41. Ухаза — местность на границе с Йеменом, южной Аравией.

Стих 42 — 43. Поэт ложится для отдыха спиной на голую землю, подкладывая вместо подушки руку.

Стих 44. Имя Умм-Касталь не ясно; некоторые исследователи хотят видеть в нем имя женщины близкой Шанфаре, к которой он обращается и в стихе 49-м; другие, вслед за арабскими комментаторами, толкующими слово «касталь», как пыль, видят в эпитете «Мать пыли» наименование войны.

Стих 43. Преступления поэта олицетворяются в виде игроков, гадающих в «мейсир» о судьбе Шанфары, который обречен им в жертву.

Стих 49. «Дочь песка» — страус, по толкованию некоторых арабских комментаторов — змея или антилопа.

Стих 50. Ублюдок волка и гены считается у арабов символом особой чуткости.

Стих 54. Ночь была так холодна, что стрелок жег на костре лук и стрелы, лишь бы согреться.

Стих 57. Аль-Гумейса, кочевье, на которое Шанфара совершил нападение.

Стих 60. Разрушение, причиненное Шанфарой, может быть приписано только сверхъестественной силе — духу «джинну».

Стих 61. С периодом появления Сириуса связан период жаров.

Стих 63. «Длинные, не расчесанные» — волосы.

Стих 65. «Две работницы» — ноги.

